



В. Д. ОСКОЦКИЙ

Дневник как правда

II

Своего рода и смысловой, и эмоциональный ключ к дневникам академика В. И. Вернадского, датированным 1938—1939 годами¹, — в записи, соотносящей главное направление занятий ученого — разработку теории ноосферы — с проблемами политическими, остро выдвинутыми современной действительностью: «Вчера работал над книгой. Основные черты демократии выяснил себе как ноосферные явления. Думал хорошо». Так сошлись под пером вечное и временное, и нерасторжимое их единство нашло обоснование, характерное для умонастроений автора: безраздельная погруженность в одно только прошлое — «странное состояние, мне непонятное. Я живу будущим и настоящим».

Не потому ли и «чистая» наука, и историко-философские размышления нередко отступают в дневнике перед хроникой дней текущих? Она затмевает все, диктуя как содержание, так и форму, своеобразную стилистику записей. «Миллионы арестованных. Это *быт*. Миллионы заключенных — *даровой* труд, играющий очень заметную и большую роль в государственном хозяйстве. Все яснее мысль о геометрически особой структуре пространства, охваченного живым веществом». Так чаще всего: жизненные драмы и научные идеи не просто стыкуются, соседствуя как бы «через запятую», но взаимопроникают друг в друга.

Жуткая действительность вторгается в дневник «основным болевым явлением» — кошмарами террора. Редкая запись обходится без новых и новых свидетельств, которые стекаются не только из Москвы и Ленинграда, но и из Киева, Можайска, Череповца, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону, Полтавы,

Пятигорска, Казани, Еревана, Новочеркасска, Кременчуга, Омска, Саратова, других залитых кровью градов и весей. Даже с БАМа. Довоенного, сталинского, о котором энтузиасты 70-х, герои ударной комсомольской стройки брежневских времен, обернувшейся очередным саморекламным БУМом развитого социализма, если и знали что понаслышке, то совсем не то, о чем рассказывает Вернадский. «Работа ведется рабским трудом. Нагнано до 400 000 человек. Дорога строится в нескольких местах сразу. Несколько % (если бы несколько! — В. О.) мужского населения — заключенные, т. е. рабы. Масса ненужных страданий».

Вникая в подобные записи сегодня, не сразу осознаешь, что все они бесстрашно велись не в обнадеживающие «оттепельные» и не в безопасные «перестроечные» годы, а по кровавым следам преступлений, составлявших внутреннюю политику «социалистического» государства. В преддверии и в разгар очередного «публичного», на сей раз «бухаринского», процесса. В разгул других насилий, которые без удержу чинились на всех уровнях власти. «Откуда-то приводится цифра 14—17 миллионов ссыльных и в тюрьмах. Думаю, что едва ли это преувеличение».

Боясь завышения, Вернадский не знал, да и не мог знать, что названная им цифра занижена. Не все было ясно ему и в причинах, вызвавших бесперебойные репрессии. Так, допуская одной из них «сумасшествие власть имущих», которые губят «большое дело нового, вносимого в историю человечества», он еще не пришел к выводу, что то было безумие не просто повальное, но исторически predetermined, идейно запрограммированное диктаторской сущностью антинародного режима: резко возросший спрос на «ежовы рукавицы» предвосхищен ленинским призывом к «образцовой (!) беспощадности», обоснован сталинской «теорией» обострения классовой борьбы. Не срабатывает ссылка на слухи и разговоры о «вредительстве Ежова», легко, впрочем, отвергаемая тут же в дневнике: «Партия боится Сталина. Ежов и Сталин — не одно?» Равным образом, всерьез рассуждая о противоречиях, разногласиях среди большевистских бонз, автор дневника не представляет себе, что «сброд тонкошеих вождей»² повязан в монолитное окружение «отца народов» не чем иным, как круговой порукой преступлений.

Важно, однако, не то, в чем не до конца разобрался, чего не предугадал ученый, а то многое, что пронизательно предвидел, распознал безошибочно.

Доживи, скажем, Вернадский до 1956 года, осторожный, робкий прорыв XX съезда к правде об убийстве Кирова не прозвучал бы для него откровением. Дневник фиксирует догадку и о личной причастности к преступлению Ягоды, и о персональной ответственности Сталина и Молотова за террор в Ленинграде: развязав его, «двинули следствие не в ту сторону... заметали следы». То же в связи с «бухаринским» процессом, который оставляет «странное впечатление» и побуждает «много критически продумать». Дирижеры его без обиняков названы безумцами, подрывающими «силу государства», создающими «огромное впечатление тревоги — разных мотивов, но не чувства силы правящей группы... Глупые мотивы выставлены в газетах...» И если «часть толпы» им все же поверит, то это такая часть, «которая поверит всему и на которую не опереться».

Будем ли, прочтя такое, с высоты наших поздних прозрений самонадеянно корить ученого за печать времени, все-таки различимую на иных суждениях? Добро бы только о «Педагогической поэме», названной книгой интересной, даже замечательной, хотя, как явствует из дневника, остановившей внимание по преимуществу тем, что в ней описана колония имени большевистского Торквемады³, которого, однако, «сейчас, при терроре Ежова, вспоминают... как его антипода». Но вот и о Кирове, в котором Вернадский искал (или, в противовес околосталинской камарилье, хотел найти) «крупного идейного человека», «крупную фигуру с большим будущим», говорится с явным заострением добродетельных черт этого среднекалиберного политического деятеля. Мало того, «сам» Сталин назван однажды «мировой фигурой», чья международная политика «в основном правильная. Ни Гитлер, ни Чемберлен, ни Даладьё — никто из них не стоит на другой точке зрения». Правда, мировым бывает и зло, а совпадение гитлеровской и сталинской точек зрения на раздел Европы и сферы влияния вскоре подтвердит советско-германский сговор... В оценке его Вернадский поначалу более чем осторожен: явно смущен пропагандистским энтузиазмом обольщенных народных масс, якобы сознательно ратующих «за активную политику Сталина в Финляндии и Польше». Этим, кстати, снимается и недоумение, в какое повергает сталинский голос, впервые услышанный по радио: «Удивительно, как при таких неблагоприятных посылках — голос и акцент некультурный — и такой успех!»

Истина обязывает забежать вперед — в первые недели Отечественной войны, когда в дневнике⁴ появится сопоставление сталинского и гитлеровского режимов как двух «тоталитарных

организаций» общества: «нашей — коммунистической и германской — национал-социалистической». В обоих случаях — «диктатура и в обоих случаях — жестокий полицейский режим. В обоих случаях — миллионы людей неравноправных». Кто еще из современников ученого отважно и опасно приблизился к взрывчатой мысли, за полтора-два десятка лет предвосхитившей и «крамольное» высказывание Льва Ландау, «оприходованное» доброхотными осведомителями КГБ, и концепцию репрессированного романа Василия Гроссмана?⁵ И чем была эта мысль для самого Вернадского: внезапным озарением, наитием или исподволь выношенным аналитическим выводом?

Начальные подступы, выходы к ней есть уже в дневниках 1938—1939 годов. И хотя от указаний на прямое тождество сталинизма и гитлеризма ученый пока что воздерживается, непроизвольные аналогии мало-помалу прорастают сами собой. У нас «это грубее и резче», — замечает, к примеру, он, комментируя сведения о связях «с дельцами ГПУ» активистов-общественников (в дневнике они названы «квартирными комендантами») из перенаселенных московских коммуналок и сопоставляя с тем, что услышал в Лейпциге от немецкого коллеги о надзоре за людьми в фашистской Германии. «Эта форма взята у Гитлера?» — задается вопросом, ужасаясь «гражданской смерти» людей, до поры до времени оставленных «вне тюремного круга». Не сомнение, а утверждение содержит запись о гибельных условиях тюремного и лагерного существования: «Не дошли (о том, что превзошли, предстоит узнать в будущем. — В. О.), как гитлеровцы, до убийств с издевательствами — близко [к этому подошли]». Многозначительна оговорка, которой сопровождаются рассуждения о возможных изменениях к лучшему: «...если не наступит реакция типа германской». <...>

Для Вернадского 1937—1938 годы не внутривластная вакханалия, хотя «самопоедание коммунистов» не ускользает и от его пристального взгляда, а общенародная трагедия, обрушенная на все слои общества, породившая «смуту и неопределенность в душе у огромного большинства кругом». Ненасытный Молох продолжает косить крестьянство, и без того повyrубленное коллективизацией. Этим, замечает Вернадский, «создается глубокое недовольство и расстройство *социального* строя». И, убежденно полагая, что, по крайней мере на Украине, «колхозы не вошли крепко в жизнь», смело прогнозирует «неожиданность», которая спустя два года станет в некоторых регионах страны жестокой реальностью войны: «Особенно учитывая те аресты и произвол, и несправедливость, которые творятся, — может быть,

население встретит немцев не так, как этого можно ожидать из наших газет».

С не меньшим тщанием фиксируются опустошения в Комиссариате иностранных дел, Академии Генерального штаба и вообще «в военной среде», в Наркомате тяжелой промышленности. Тревожит «резкое ухудшение обстановки» в молодежной среде. Учащаяся молодежь насквозь «проникнута шпионажем НКВД. Идет пропаганда поступления в комсомол... Комсомольцы — под непрерывным надзором, лишаются свободы распоряжаться собою... Агенты НКВД кишат среди студенчества — их многие знают». Как деревья на лесоповале, вырубается научная интеллигенция. Истребление ее, катастрофическое для отечественной науки в целом, подрывает обороноспособность страны «по военной линии. Полный разгром, и в случае какой-нибудь беды, вроде войны и т. п., [мы будем] совершенно безоружны». <...>

Если арест одного безвинного человека Вернадский воспринимал актом не просто насилия, беззакония, но «разрушения культуры», то террор в целом, явление «серьезное и опасное, разлагающее морально и буквально нашу жизнь», укрепляет его убеждение в «непрочности основ современного устройства России, а может быть, строя». И хотя вера в жизнь, которая рано ли, поздно ли «возьмет свое», не оставляет ученого, абсурдистская действительность сталинизма не дает утвердиться надежде. Ее не вселяет и частичное — по воцарении Берии — возвращение репрессированных, легковерно воспринятое некоторыми как конец террора: «...гнет тот же и не уменьшается». Изначально обреченной оказалась недолгая попытка самовнушенного примирения с гнусной, как сказал бы Белинский, действительностью: «Одно время я думал, что происходящий гнет и деспотизм может быть не опасен для... будущего. Сейчас я вижу, что он может разложить и уничтожить то, что сейчас создается нового и хорошего». Вот почему победоносная борьба за социализм в одной, отдельно взятой стране характеризуется как «совершенное варварство: разрушается в основе строительство жизни». Смертоносные симптомы этого саморазрушения — глубокое, резко проявленное расхождение «власти с жизнью», все более «грозное разъединение государственного механизма», невероятный «бюрократизм аппарата», ни в верхах, ни в низах которого «не видно прочных людей»: захлестывает мутная волна амбициозных карьеристов, чуждых гуманистическим традициям русской интеллигенции, «желающих власти и земных для себя благ». За примерами, наглядно подтверждающими «ужас-

ную картину развала», созданного «безумным или паническим террором», Вернадский обращается к сфере, наиболее знакомой и близкой, — Академии наук, научным институтам. Но непрестанный тревогу его вызывают также низкий уровень вузовского преподавания, ужасающее положение общеобразовательных школ: даже столичные — «плохие в смысле учения: нет педагогов, нет учебников. Не учится 40 % учеников. Детей, не желающих учиться, не учат». Зато небезуспешно растлевают души, приучая к доносительству: «Чувство товарищества не воспитывается».

Что же в таком случае движет жизнь, которая, как ни опустошена физически, деморализована, истощена интеллектуально и духовно, вопреки всему, «идет своим чередом»? Предложенный ответ не претендует на полноту, всеисчерпанность, но к нему, варьируемому не однажды, нельзя не прислушаться: «Партия прогнила. Но страна держится сознанием — при неведении — масс». И тем еще (мне так кажется? или хочется так думать? — терзается автор дневника), что «стихийный процесс... положительной главной работы» торит себе путь усилиями «тех, которые находятся в положении рабов, это чувствующих, — спецссылных, интеллигенции»...

Проницательный ум ученого, равно предрасположенный и к глубокому анализу действительности, и к синтезу, типологизирующему ее явления, не довольствовался фактологическим воспроизведением переживаемых событий и, отталкиваясь от них, совершал неуклонное восхождение к проблемным обобщениям, сцепляющим причины и следствия прямой преемственной связью. Это придает дневниковым суждениям характер надвременных пророчеств, на несколько порядков обогнавших общество в понимании эпохи. Трудно поэтому назвать кого-либо, кто так же близко подошел бы к утверждению истин, которые большинству сегодняшних демократов из поколения «шестидесятников» давались малыми — с высоты нашего нынешнего мироощущения кажется, что слишком малыми, — дозами. <...

К познанию всего этого поколение «шестидесятников», получившее начальные импульсы к самостоятельному философскому и социальному мышлению в послесталинскую «оттепель», пришло на пороге последнего десятилетия XX века. Для Вернадского, родившегося в середине века, который мы скоро назовем позапрошлым, знание, трудно добытое нами сегодня, на исходе жизни, было аксиоматичным в годы нашего довоенного детства. «Впечатление неустойчивости существующего у меня становится еще сильнее... Волевая и умственная слабость руко-

водящих кругов партии и более низкий уровень партийцев, резко проявляющийся в среде, мне доступной, заставляет меня оценивать [существующее положение] как преходящее, а не достигнутое — не как тот, по существу, великий опыт, который мне пришлось пережить».

Как видим, иллюзия «великого опыта» и над ним довлела некоторое время. В этом отношении Вернадский, пусть ненадолго, но все же разделил трагические заблуждения эпохи. Но он из тех, кто, преодолев заблуждения многих, отказавшись от иллюзий, преподал единственный в своем роде урок прозрений, которые были обречены оставаться сокрытыми, утаенными от соотечественников. «Атмосфера отвратительная. Коммунисты... для меня подозрительны с точки зрения их работоспособности и надежности — здесь преобладают карьеризм, личные счеты и, может быть, возможно сознательное вредительство. Думаю, скорее — щедринские и гоголевские типы. Разложение партии». Не будем останавливаться на «вредительстве», столь частом в лексиконе 30-х годов. Но обратим внимание на «разложение». Право, никто из живущих не в относительно — очень в те времена относительно! — безопасной «загранице», а в родном российском отечестве не отваживался на такой точный, беспощадный, — а с точки зрения большевистских властей и лубянковских опричников, — контрреволюционный, антисоветский диагноз.

Укрепиться в нем Вернадского побуждает XVIII съезд ВКП(б)⁶, оставивший «удивительное впечатление банальности и бессодержательности, раболепства к Сталину... Люди думают по трафаретам. Говорят, что нужно... Это заставляет сомневаться в будущем большевистской партии. Во что она превратится?» Пройдет два года, и новое пропагандистское шоу вынудит повторить сказанное в связи с «бездарной болтовней XVIII конференции партии»⁷. Ни одной живой речи. Поражает убогость и отсутствие живой мысли и одаренности выступающих большевиков. Сильно пала их умственная сила. Собрались чиновники, боящиеся сказать правду. Показывает, мне кажется, большое понижение их умственного и нравственного уровня по сравнению с реальной силой нации». Примечательно: уже не только научной среды, которую академик знает лучше других, а всей нации. Суть, стало быть, не в самогубительности террора самого по себе, а в том, что он — закономерное порождение советского строя и, как булыжник — оружие пролетариата, излюбленное орудие большевистской партии, ее антинародной, антинациональной политики. <...>

Особая печаль ученого — засилье гоголевских и щедринских типов в мире науки, чье «национальное выражение», как это

подчеркнуто на примере Украины, «совершенно сдавлено». Все они вызывают недоумение, возмущение, презрение. «Типичный кондотьер»⁸, чья недалекая голова «вскружилась... от власти — а понимания государственного не было», — записано об одном из них. «Морально маленький, трусоватый», — сказано о другом. «Лакей, прикрытый великими лозунгами. Это — та молодежь, которая всегда с властью», — о третьем. «Невежественный карьерист — тип Хлестакова или Расплюева, но еще с полицейскими наклонностями доносчика», — о четвертом. Нескрываемая неприязнь к «невеждам и дельцам», разрушающим науку своим «просто глупым самодурством». «Мелкие люди» ставят «мелкие задачи» под «злобу дня», порождая повышенный спрос на «молодой, но серый» состав исполнителей, комплектуемый не той «хорошей молодежью, которая хочет и *может* работать», а «молодежью, частью малознающей, карьеристами». От них нестерпимый дух торгашества, «подобострастия из страха», раболепия.

Все эти нелицеприятные аттестации вовсе не анонимны. И если, приводя их, нет надобности указывать конкретные адреса, то лишь потому, что речь идет хоть о вредной, но мелкой сошке, чье персональное поименование мало что скажет сегодняшнему читателю. Однако в череде называемых лиц он встретит и многих именитостей, чей святочный ореол, созданный официальной агиографией, наверняка померкнет под сокрушительным напором неутаенных фактов и нелицеприятных оценок. Весомый урок в поучение, назидание не только потомкам таких «отрицательных героев» дневника, но и всем нынешним мастерам черных дел, успокаивающим нечистую совесть близоруким расчетом на людское беспамятство: авось да пронесет, вдруг да удастся уйти и «от суда мирского», и «от божьего суда». Последнего, впрочем, они, истые атеисты, не очень-то и страшатся...

Конечно, вряд ли кого изумит ныне «большое проявление деятельности» Лазаря Кагановича, который назван самоуверенной бездарью, «не создателем», а «организатором», «разрушающим раньше созданное», или беспринципного «ритора» Вышинского: «...в минуту говорит поразительно много слов и... лает». Разве что еще и еще раз привлечет незашифрованной прямотой высказывания. Аналогично в случаях с Р. Землячкой, Белой Куном, чьи крымские расправы известны Вернадскому не понаслышке. В их малопочтенном ряду О. Куусинен, марионеточный «премьер» марионеточного «коммунистического» правительства Финляндии, на потеху всему миру сколоченного

Сталиным—Молотовым в первые дни войны с «белофиннами». А это о ком: «Обычно он говорит много, нудно и неясно»? О Глебе Кржижановском, который, как известно, был на «ты» с «самим» Лениным, что, однако, не удержало его от того, чтобы не без низкопробной лести назвать задним числом пресловутый «план ГОЭЛРО» ленинско-сталинским. Не диво поэтому, хотя Вернадский немало удивлен, конъюнктурная навсегоготовность большевистского академика и даже вице-президента Академии наук⁹, обласканного гениальным электрификатором всей страны: «первоклассные ученые» для него все, на кого ни укажут сверху. В том числе и «такие бездарности, как Юдин, Митин, — царят в нашей философии. Далеко на них не уедешь». Корифей всех наук и не помышлял ехать далеко, тем паче в философии, которую считал своей наследственной вотчиной: невежественные, но послушные графоманы-академики его устраивали.

Уж если о ленинском confidente и сталинских протеже без всяких околичностей, то никакие афишированные заслуги не застыт глаз в суровом осуждении тех, кто, поступаясь достоинством подлинной науки, из страха или корысти ради роняет собственный авторитет ученого. Вернадскому глубоко претит «лесть к власти имущим» академика Губкина¹⁰, из которого четверть века спустя пропагандистские апокрифы сотворят кумира тюменских нефтяников. Нестерпима неприглядная роль «подголоска Вышинского», какую в Академии наук взял на себя О. Шмидт¹¹, идеализированный герой арктических плаваний. А зубодробительная статья в «Правде»¹², обличающая возвышение шарлатана Лысенко — «поповщину и идеализм» Л. С. Берга, «фашизм» и «расизм» Н. К. Кольцова, ученых с мировым именем, названа так, как того заслуживает: доносом. Даром что среди ее «подписантов» солидные академики и доктора наук, включая бывшего народовольца А. Н. Баха. <...>

На что чаще и больше всего направлены раздражение, гнев, неприязнь Вернадского в записях, касающихся нравственного престижа науки, этики ученого? На тот самый конформизм, принимающий крайние формы уродливого соглашательства с властью, раболепного пресмыкательства перед нею, в которых нынешние хулители интеллигенции видят типовую модель ее социального поведения. Однако отсюда вовсе не следует, будто автор дневника их соумышленник. То, что они выставляют якобы нормой, для него недостойная, постыдная аномалия, о которой пристало судить, не щадя никаких авторитетов. «Жутко и грустно читать сегодня статью Бурденко¹³ об успехах у нас меди-

цины! Бурденко, говорят, хороший хирург», но его «Наука на службе народу» («Известия», 12 января 1938 года) — кривое зеркало, зловредно искажающее безотрадное положение дел в медицине.

Эпизод с академиком Бурденко кладет начало еще одной сквозной теме дневников, которую точнее всего передают авторские восклицания: «Господи, как бездарна и лжива пресса. Ни одного таланта»; «Газеты... совершенно бездарны и нечего читать»; «Господи, как они невежественны и фальшивы и [какие они] рабские». Казалось бы, перед кем бисер метать, скрупулезно уличая большевистскую печать в том, что она полным-полна «негодными, искаженными сведениями»? Уж если Вернадский не столь наивен, чтобы, приняв на веру бериевский трюк, ликовать в связи с «правдинскими» разоблачениями клеветников-доносчиков, спровоцировавших аресты честных людей («Я думаю, что главные деятели... не затронуты»), то ему ли поражаться масштабам лжи о «радости жизни»?

Смысл подобных записей не в том, чтобы, коллекционируя уродства действительности, тыкать пальцем в мелкое газетное жулье или того больше — в стоящих за ним «паханов» сталинской пропаганды, вывести тех и других на чистую воду. Лживость прессы занимает Вернадского как наглядный результат подавления и удушения свободной мысли, насильственно ввергаемой «в эпоху Павла»: «Трудно учесть вред цензуры — вполне бездарной, невежественной и, возможно, сознательно мешающей научной работе в нашей стране». В другой записи уточняется: не только научной работе, но и культуре в целом — урон, причиняемый ей Международной книгой и Главлитом, невосполним.

Тем напористой энергией, с какой Вернадский отстаивает элементарную, по сегодняшним понятиям, возможность безнадзорно читать зарубежные издания¹⁴. (Пещерных держиморд, и ныне вещающих, будто вся демократическая ересь от заморского чужебесия и его «агентов влияния», в расчет не берем — много чести.) Не ради того лишь, чтоб своевременно узнавать обо всем, что конъюнктурно «скрыто в нашей прессе», будь то «трагедия интеллигенции в Праге», расстрел студентов гитлеровскими карателями, закрытие чешских университетов. Главное — «свобода в чтении иностранной печати», помогающая «переносить гнет». Вернадский и здесь, как всегда, верен себе, своим нравственным императивам, в завершенной и совершенной системе которых на первое место выходит духовная свобода гармоничной личности, нестесненного интеллекта, неотторжимая от свободы слова, печати, совести, информации, творческого поиска и

научного познания. Но против всего этого и созданы «ужасающие условия получения книг из заграницы», нагнетаемые холопскими стараниями тех «гоголевских типов», которые прибрали к своим загребущим рукам «проникновение к нам свободной мысли!»...

В том, что она пробила-таки себе дорогу, сломив яростное сопротивление явных и тайных служб надзора, немалая заслуга академика, хотя самому ему не дано было дожидаться тех добрых ростков, какие пошли от семян, брошенных им на пашню в кровавое сталинское лихолетье. Ничего не поделаешь: тоталитаризм не был бы тоталитаризмом, террор террором, а диктатура диктатурой, если б не умели растянуть время, отделяющее посев от всходов. Но и в самые безысходные десятилетия подспудная работа истории не прерывалась: жизнеупорная традиция свободомыслия, полнозвучным выражением которой стал дневник Вернадского, выдвигала из среды научной и творческой интеллигенции новых непокладистых вольнодумцев — Игоря Тамма, Петра Капицу, Льва Ландау. Той же нерасторжимой преемственностью времен и поколений глубинно соединены духовная свобода, которую сумел сохранить за собой В. И. Вернадский, и неусыпная совесть XX века, олицетворенная Андреем Сахаровым.

Назовем в этом ряду и Александра Солженицына, чей писательский подвиг также сопрячен идеалам духовной свободы, которые без устали отстаивал Вернадский. Между мемориальным наследием ученого и творчеством писателя угадывается не только опосредованная, но и прямая связь, побуждающая воспринимать «Архипелаг ГУЛАГ» той нетерпеливо ожидаемой книгой, которая действительно и по сей день непревзойденно утолила потребность общественного сознания осмыслить советскую историю как и историю тоталитарного строя, чьи, говоря солженицынскими словами, «силовые линии... направлены от свободы к тирании. Эти линии очень устойчивы, они врезались, они вкаменились, их почти невозможно взвихрить, сбить, вернуть. Всякий внесенный заряд или масса легко сдуваются в сторону тирании, но к свободе им пробиться — невозможно».

Вернадский из тех первых, кто осознал и высказал эту потребность. В основании нашего нынешнего знания правды истории каменная кладка его дневников выделяется поэтому особой добротностью... <...>

